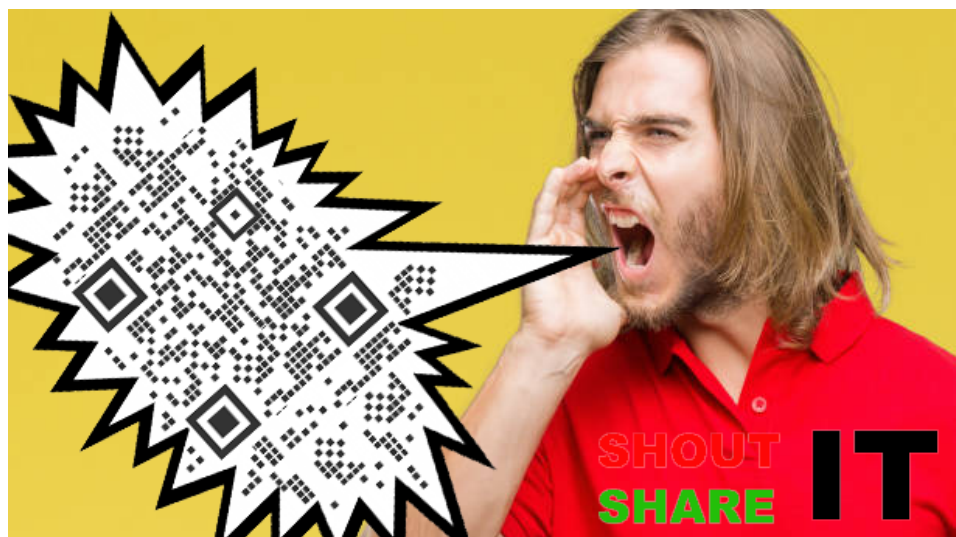


Я родился в Москве...

Николай Иванович Либан



SHOUT
SHARE IT

Annotation

Печатается по Сб. Филологический факультет МГУ 1950–1965. Жизнь юбилейного выпуска (Воспоминания, документы, материалы). — М.: Редакция альманаха "Российский Архив", 2003. Печатается с изменениями

- [Я родился в Москве...](#)



Я родился в Москве...

Я родился в Москве, в Неопалимовском переулке, крещен в церкви Неопалимой Купины.

Папа был самый непутевый человек... Уж если он мог вторым браком жениться на девушке, которой было 17 лет!.. Ему уже было 58 или 60. Расторгнуть в те времена предыдущий церковный брак было невозможно, как вы понимаете. Поэтому я и ношу фамилию своей матери, Марии Романовны Либан. А мать моя, Мария Романовна, — дочь присяжного поверенного Романа Иосифовича Либана. А Роман Иосифович и Евгений Иосифович — дети виконта Либана, полковника французской армии, который объявил Эльзас независимой республикой. Эльзасцы ведь это не французы, это какая-то смесь французского и немецкого. Полковник Либан был казнен, лишен всех орденов, званий и состояния, а вся семья его выслана в Россию. А в России сыновья его учились в Варшаве, в университете на юридическом факультете, а дочь училась в Петербургской консерватории.

Фамилия отца была Лавров. Как я уже сказал, это был самый непутевый человек. Он кончил шесть факультетов. Лица, получавшие университетское образование, автоматически удостаивались личного дворянства. Основная его специальность была финансист, юрист. Одно время он даже был товарищем председателя Крестьянского банка, товарищем председателя Купеческого банка. Он постепенно разорял дворянские банки.

Еще он был историком и филологом. Но, по-моему, он вообще ничего не писал. А что касается филологии... филологическое образование считалось общеобразовательным. Его получали для хороших манер.

Мама у меня была замечательная. Когда отец умер и она осталась вдовой,

первое, что она сделала, она организовала бесплатный детский сад для детей

рабочих. Он существовал до 17 года. А потом ее выгнали из заведующих, сад

передали Наркомпросу. И она продолжала работать там воспитательницей. А

через пять лет ее выгнали и вообще, потому что комиссии не понравилось, что дети пели что-то вроде «В лесу родилась елочка...» Ее спросили: она человек

религиозный или нет. Она сказала: «Да». И комиссия вынесла решение, что

религиозный человек не может воспитывать детей.

Она обратилась в какой-то комитет профсоюзный и встретила Миленчанскую, крупный профсоюзный деятель, которая стала интересоваться, в чем дело. Мама ей все рассказала. Та говорит: «Какая вы счастливая женщина, что у вас есть Бог в душе. Вот если б у меня был, я была бы счастлива». А у Миленчанской была трагедия — у нее была девочка-идiotка. «Я вам найду работу». И она определила ее в РИО ВЦСПС, редакционно-издательский отдел. Но там тоже не нашлось места, в конце концов, по-видимому не без участия

Миленчанской, ей нашлось место в книжном магазине. Директором его был Демидов, такой писатель был, из крестьян. «Мне, — говорит, — очень нужен заместитель, но чтобы был честный». «Ну, вот есть такая, — ему говорят, — но только плохо, что она в Бога верит». «Нет, — говорит, — это как раз очень хорошо».

Семья была религиозная. В этой семье была моя бабка, двоюродная или троюродная, я уж не знаю, Александра Дмитриевна Хаецкая, урожденная

Себелева. Ее муж был сын польского революционера Хаецкого. Вот она-то и была заправилкой в семье. И когда пришло "безрелигиозное воспитание", она сказала: «Хорошо. Ну, вот пусть он подрастет. А пока он будет изучать историю у

Бахрушина». Это был известный профессор Московского университета, племянник того, который создал музей (он жил в Денежном переулке, в собственном доме).

Несколько раз я стоял посошником с патриархом Тихоном. Посошник — это мальчик, который в стихаре держит посох Владыки. Он служил у нас в церкви Покрова в Левшине, и, конечно, он никогда никого не брал с собой в помощь, а только двоих иподиаконов.

Религиозное воспитание я получил в церковной школе протоиерея Георгия

Чинова. Она просуществовала до двадцать пятого года, в Москве, в Мертвом переулке в церкви Успения на Могильцах. Чинов был главным бухгалтером, то

есть, по-нашему, главным экономистом «Кож-треста». Он был вообще человек очень образованный, владел шестью языками, сам вел переписку со всеми, как теперь говорят, фирмами, которые покупали у нас кожу. Русская кожа — одна из лучших. И в то же время он был настоятелем церкви Успения на Могильцах.

Произносил замечательные проповеди. У него-то я научился говорить. Он был полиглот. Если он в Сорбонне мог читать «Историю христианства»! Понимаете, русский поп в католическом центре читает историю христианства! А потом что

было с ним? Потом ему предложили снять сан и оставаться на старом месте. Он отказался. Ну, тогда, естественно, его «сократили». Но это для него был не удар. А вот когда через три года его церковь закрыли, для него это был удар!

Жена купила ему дачу, чтобы он там жил. Но это уже была жизнь-угасание.

У меня детство было счастливое. Счастливое. Необыкновенное. Мы жили в Москве, в Денежном переулке. Я родился в 1910 году. Так что я учился в

советской школе, в бывшей женской Хвостовской гимназии. Во время революции научные работники решили сделать для своих детей школу — не единую

трудовую, а подобную гимназии.

Так что у нас в школе преподавался латинский язык. Преподавал Шендяпин. Куницкий преподавал физику. Он знаменит тем, что учил Леваневского летать по звездам. Он был доктором наук, даже членом-корреспондентом Академии наук, по-моему. Затем профессор Баев, астроном. Георгий Иванович Фомин, преподаватель русского языка и литературы, воспитанник Московского университета, и он кончил потом Шелапутинский институт (идея этого института состояла в том, чтобы подготавливать директоров и инспекторов школ). Альма Юльевна Островская, француженка. Василий Григорьевич Колесов, биолог. Это очень колоритная фигура. Сын ломового извозчика, который кончил университет и попал вот в такую школу, в которой часто преподаватели в учительской говорили по-французски или по-немецки. Еще помню Елагина, географа, совершившего путешествие вокруг света несколько раз. Самый яркий и самый любимый преподаватель в Фомин. Потом мы очень сблизились. Это уже после окончания школы, когда я работал в университете. Я его разыскал. Очень часто бывал у него дома, иногда он заходил ко мне домой...

На мое мировоззрение влияла одна из моих школьных учительниц, она же — врач, она же — географ, агроном. Не удивляйтесь, для этого поколения окончание пяти-шести факультетов — это не исключение. Варвара Сергеевна Смирнова. Замечательный человек! Она прошла всю войну 14-го года полковым врачом. Я с ней очень много путешествовал по России — Ярославль, Владимир, Суздаль. Это восьмые-девятые классы так называемого «спецуклона».

В этой школе я учился с первого по седьмой класс. А потом спецшкола. Вернее, тогда называлось это спецуклон, «общественно-педагогические курсы». Это восьмой и девятый класс.

Я сбежал в восьмом классе юнгой на корабль. Мальчишке нужно мужество — я и убежал. Мама плакала и молилась. Маме доктор говорил: «Не волнуйтесь вы.

ангел мальчишкам соломку подстилает, а иначе все б их головы полетели...» Я сказал, что я еду корреспондентом «Пионерской правды», уговорил Женьку

Долматовского, чтобы он дал мне такое направление. А потом, когда я в Архангельск приехал, меня, конечно, никто не брал никуда. А потом какой-то старый матрос мне сказал: «Брось ты эту бумагу!» Он еще энергичнее выразился... «Тебя никто не возьмет с ней. Вон в Мурманске нужен мальчишка- поезжай туда». Я кое-как добрался до Мурманска. Меня взяли на научно-экспедиционное судно юнгой. Вы знаете, что такое юнга? Мальчишка на побегушках. Мне тогда было лет четырнадцать или пятнадцать.

Я вернулся через год. Дошел до Шпицбергена — на воде не плавают, а ходят. А когда мы вернулись обратно со Шпицбергена в Архангельск, капитан подозревал меня и говорит: «Ну, вот что. Я тебе дам бумагу, тебя примут в школу штурманов дальнего плавания. Понимаешь, как это важно!» Я говорю: «Да-а... я хочу поступать в вуз». «Плюнь ты на это! Что тебе вуз? Кончишь ты вуз, что ты

будешь... учителем, бухгалтером? А капитан дальнего плавания — всегда

человек». Выписал мне зарплату, что я заработал за это время, и отпустил меня...

Первую работу я нашел на Брянском вокзале, когда грузил дрова и натянул себе грыжу. А потом устроился разнорабочим в типографию «Искры». Я поступал в университет, между прочим. После окончания школы меня никуда не принимали. Нужен был рабочий стаж. Тогда была совсем другая система поступления, чем сейчас. Подавали документы в Мандатную комиссию. И Мандатная комиссия отбирала: кого можно допустить до экзаменов, а кого нельзя допустить. Так что меня первое время даже не допускали. Не член профсоюза. Не член комсомола.

Здесь был анекдот. Я работаю разнорабочим во дворе. Тут влетает

парнишка: «Ты бы мог работать корректором! Что ты здесь корячишься?» Я был очень доволен: меня взяли в корректорский отдел, научили корректуре

И я пошел поступать в университет. Но это считалось работой служащего, не рабочего. Погорел. Видите, как...

Я потом поступил в пединститут. Таких горевых, как я, было

много. У меня в классе был товарищ, Даня Шуб. Жил он трудно, его отец был репрессирован: он был членом «Бунда», очень крупный экономист. Даня ко мне приходит и говорит: «Коля! Ты знаешь, я нашел место, где нас будут учить! Открылся пединститут по повышению квалификации учителей». Я говорю: «Как! Ведь я не учитель». — "Ты ведь все время даешь уроки". (Я давал уроки по литературе, по истории, географии.) Я говорю: «Меня туда не примут». — «Не беспокойся. Меня уже приняли. Я студент первого курса и договорился о тебе. Иди к декану Алле Львовне Каплан». Принес я все документы, которые не были приняты в университете. «Идите, — говорит, — в 68 аудиторию, я внесу вас в списки». Я говорю: «Как?!» — «Ну, вот так». А потом этот институт повышения квалификации обратили в Московский городской педагогический институт. Сперва он был без всякого имени, а потом ему дали имя Потемкина.

Был там замечательный профессор Ревякин Александр Иванович, он первый обратил на меня внимание. Когда я окончил этот институт, он мне говорит: «Подавайте в аспирантуру, я вас беру». Я говорю: «Александр Иванович! Я хочу в аспирантуру ИФЛИ». Он отвечает: «Хорошо. Я вам напишу рекомендацию». Ну, вот я и поступил в ИФЛИ. А ИФЛИ во время войны влили в университет. Вот как я оказался в университете.

Сдаешь экзамен — попадаешь в аспирантское объединение, и там Валериан Федорович Переверзев тебе предлагает темы. Я выбрал «Русский исторический роман».

Семинар Переверзева по XIX веку — самый впечатляющий, самый интересный. Кстати, Переверзев не кончил курса университета (он учился на естественном факультете). Он все время сидел в тюрьме — пять лет в царской и семнадцать в советской. Умер, впрочем, на свободе. Он был меньшевик.

Древнерусскую литературу в ИФЛИ преподавал Михаил Несторович Сперанский. Но потом отказался от преподавания, подав письмо Бубнову: студенты на таком низком уровне, что им нужно в сельской школе учиться а не в вузе. — «Я прошу Вас перевести меня на должность переплетчика». И его отчислили. Еще приходит на ум имя Геннадия Николаевича Поспелова.

Я чуть было не сказал, что не было значительных семинаров в МГУ... Был семинар Бонди, безусловно. Может быть, семинар профессора Николая Леонтьевича Бродского по кафедре русской литературы — у него бывало до шестидесяти человек на семинаре!

На кафедре русского языка, конечно, Дмитрий Николаевич Ушаков — я слушал его лекции. Русский барин. Человек был гармоничный. Конечно, назову романиста Максима

Владимировича Сергиевского. Он никаким ораторским талантом не обладал, но он был очень умным. И лекции его отличались умом и только! И поэтому, что бы он ни говорил, все было очень интересно и значительно. А германист — Александр Иванович Смирницкий!

Артистичность — это слово, которое имеет много значений. Филолог не должен быть артистом, ему это мешает. Впрочем, иногда получается очень хорошо. Вот, был Федоров, не Коля Федоров, классик, а «маленький Федоров», Анатолий, зарубежник, блестящий лектор, он кончил театральное училище при Камерном театре, в театр его не взяли из-за маленького роста, а вот лекции он читал замечательно. Костя Цуринов тоже очень, очень талантливый был лектор, но вот где талант, где болезнь, иногда трудно было различить. Но самым артистичным человеком на факультете была тетя Поля — уборщица, которая гоняла студентов по коридорам.

В университете не было хороших лекторов, если не считать Александра Ивановича Белецкого, который случайно попал в университет во время войны.

Аракина я знал очень хорошо. Досадно, что Владимир Дмитриевич Аракин ушел из университета с английской кафедры: его расхождение с Ахмановой, в сущности, не должны были отразиться на манере преподавания этой дисциплины. Ахманова боролась за свою лингвостилистику, которая всюду «проникла», в результате, конечно, студенты хуже знали язык, хуже его усваивали. И жалко, что вся энергия Владимира Дмитриевича была направлена только на пединститут, в котором он так успешно, много и долго работал. Университет потерял такого замечательного специалиста, блестящего педагога и большого ученого. А ведь

Аракин учился в Военно-исторической Академии до революции! Его путь был —

путь дипломата, которым он не стал. Ну, и Академия была закрыта.

Из лингвистов же хочу вспомнить о Михаиле Николаевиче Петерсоне, который первым стал читать в университете индийскую филологию. Первый-то курс его был литовский язык. Вера Александровна Кочергина — его любимая и самая талантливая ученица. Она и у меня в семинаре тоже училась.

Евгения Федоровна Гринева была очень симпатичная женщина, заведовала кафедрой французского языка, а потом «смутилась» тем, что надо было ехать за границу, — уехала и потеряла кафедру. Клавдия Александровна Ганшина была хорошей преподавательницей французского языка.

Хочется мне сказать о Леониде Григорьевиче Андрееве. Умен. Волевой человек. У него все конечности во время войны были обморожены. Вот где болезнь преодолевается знанием, наукой! Вот была у меня такая теория: почему все силы, которые бросает организм на борьбу с болезнью, не бросить на борьбу за знания? Тогда эти силы будут заглушать болезнь. Такие больные какое-то время живут полноценной жизнью, но потом все равно погибают. И таких людей достаточное количество на филфаке, у которых интеллект побеждает природное заболевание. Но это дело психолога.

Кафедра славянской филологии была захудалая. Прежние все были переарестованы тогда за то, участвовали в журнале «Slavia». А из новых — Селищев!

Тоже очень крупный ученый.

Из классиков я помню Дератани. Он был подтянутый, аккуратный. Но губительный отзыв Грушки так и остался на всю жизнь за ним. Дератани написал текст диссертации на латинском языке и защищал ее на латыни. А Грушка сказал, что «здесь много пота, но мало таланта». Вот это для истории! Он таким и был: «много пота»... Конечно, помню Радцига, Попова, Шендяпина... Леонида Петровича Богоявленского, эллиниста и латиниста. Александр Николаевич Попов был прекрасный преподаватель, у него до революции была своя частная гимназия на улице Знаменка, которой он был и владельцем, и директором, он мне много о ней рассказывал. Он был не только классик, но и русист, более всего интересовался Островским и Алексеем Константиновичем Толстым, любил Полонского,

Майкова. Кроме того, он был заядлым театралом, сам играл в молодости в спектаклях и до конца жизни оставался любителем театра.

Валентин Фердинандович Асмус — это научный соперник Лосева^[1]. Соперник в

каком смысле: это две фигуры! Валентин Фердинандович был вообще

человеком очень воспитанным, но цену себе он знал. Я помню, как одна дама

сказала Асмусу: «Так хорошо вы читаете!» Он ей ответил: «Это вам так кажется, потому что не с кем сравнивать». Он на филфаке читал, но не логику, которую он читал на философском, а, кажется, историю философии.

Значительные личности: Владлена Мурат, Валя Мирошенкова, однокурсница Мирошенковой — Нина Клячко, которая вышла замуж за Шендяпина, а позже уехала в Израиль.

Из моих учеников настоящие филологи — Ирма Павловна

Видуэцкая, Лидия Опульская, она, правда, больше у Гудзия училась, но иногда ко мне

заглядывала.

Фольклористы — это Эрна Васильевна Гофман-Померанцева, блестящий фольклорист, образованный человек, тоже полиглот, она, несчастная, страдала от своего происхождения в те времена — она была немкой. Ее подруга, Софья Исааковна Минц-Семенова, была очень хорошим фольклористом. Главой фольклористики был Юрий Матвеевич Соколов, он создал кафедру фольклора в университете, и кафедра состояла из двух человек — он и Эрна Васильевна.

...Помню Валентину Александровну Дынник. Настоящая светская дама — в обращении, в одежде, в походке, в разговоре. Сегодня дам много — валетов нет! И поэтому тяжело быть дамами. Очень.

Из молодых помню Марка Щеглова, он был моим студентом. Нужно сказать, что к биографии Лакшина надо прибавить его близость с Марком Щегловым. Был такой Щеглов, очень талантливый человек, инвалид, у него был поврежден позвоночник, он лежал. У Щеглова была масса идей, интересных мыслей. Я его знал потому, что некоторое время был замдекана по заочному обучению, я его принимал в университет, а потом участвовал в его судьбе. Он писал об Ахматовой, что-то о советской литературе. Он занимался в семинаре у Гудзия, там же, где занимался и Лакшин, отсюда их знакомство. Лакшин его водил на концерты, в консерваторию.

Яркий был человек, погиб от своей болезни очень рано.

Помню Славу Грихина. Совсем не реализовался. Времени не хватило, а был очень талантливым человеком.

У Турбина хороший был семинар. Турбин был для меня, так же как и Марк, тоже мальчишкой. Ну, в моих глазах он так и остался мальчишкой: фантазер, положительных знаний у него было очень мало. Оригинал. В меру это хорошо. А он был не в меру, нет. Вот он очень любил Потебню — но не знал материала, которым владел Потебня. Почему? Потому что Потебня был полиглотом! Ведь что подводит современных филологов? То, что они «народ одноязычный», — знает он, допустим, один язык или два языка, и ему кажется, что он уже все понимает, а здесь сотни языков, буквально! Когда читаешь, например, А. Веселовского, надо все время обращаться то к одному словарю, то к другому, то к третьему. Это россыпь языков.

Разделение филологии на литературоведение и лингвистику — это неправильно, это страшная ошибка! Потому что лингвисты не читают художественного материала, попросту говоря. Я

помню, как Самуил Борисович Бернштейн хвастал, что не дочитал до конца «Войну и мир», так роман ему надоел. А древние языки нужны всем филологам. Отсутствие их в образовании для всех филологов не то что губит филологию, а обедняет, обедняет до невозможности.

Филология — это наука. Очень большая! Очень значительная. Почему считают, что это не наука? По очень простой причине: потому что этой наукой овладеть чрезвычайно трудно. Ох, очень много нужно для этого. Подготовка. Память. Усидчивость. И... немножко таланта. Филология именно отличается умом. Без ума там ничего не сделаешь.

...Человек, который кончил историко-филологический факультет, вовсе не обязательно шел преподавать в гимназию. Хотя гимназический преподаватель был очень хорошо обеспечен. Он получал квартиру. Он получал жалование. Он получал наградные. Он получал чины. И государственную пенсию. Учитель гимназии занимал почти такое же положение, как врач, хотя был куда более обеспечен, чем врач. Правда, тогда была градация: в гимназию поступить на службу было трудно, только выпускникам университета достаточно легко. А были еще городские училища — это совсем другое. Потом гимназии были разные I мужские и женские. Положение учителя женской гимназии было совсем не такое, как мужской. Хуже. Это было другое министерство — Министерство императрицы Марии Федоровны, супруги Александра II. Женские гимназии были негосударственными, а мужские — государственными. Женские так ведь и назывались «мариинские» —

везде, по всей России. Но зато в женских гимназиях были свои привилегии: другие наградные, забота о родственниках. Какой-нибудь там Петр Иванович, который преподает музыку в женской гимназии, мог рассчитывать на то, чтобы детей его большой семьи куда-то пристроило Министерство Марии Федоровны, в институты, в пансионы. Не только классики на филфаке, Радциг, Попов, Шендяпин, были гимназическими учителями в прошлом. А вот Сергиевский, о котором я говорил, был первым избранным директором Второй московской гимназии I его избрал коллектив. Я не помню, в семнадцатом или восемнадцатом году. А до этого только назначались, а министр представлял царю кандидатуру каждого директора, по всей России!

...Редактор — очень нужная профессия. Редактор — это все равно что дирижер в оркестре: он должен все расставить по своим местам. Автор написал. Очень часто бывает, когда автор написал, что-то он по-своему сделал. И это «по-своему» вовсе не всегда

хорошо. К тому же автор всегда находится под каким-то влиянием. А редактор все это видит, может даже что-то вычеркнуть, может автору указать на неудачные места. Редактор, в сущности говоря, часто бывает соавтором. И в этом нет ничего плохого! Ирма Видуэцкая — выдающийся редактор, вообще выдающийся человек, безусловно; замечательный редактор Лидия Опульская.

...Все ученики, которые у меня учились, любимы мною. Все без изъятия. Часто брал неспособных и делал людьми.

Это ерунда, что «раньше были лучше студенты, сейчас они стали хуже». Да ничего подобного. Я Вам должен сказать, что это не студенты стали меньше читать, а все стали меньше читать: компьютер, телевизор, конечно, парализовали чтение. Чертов ящик. Допустим, «В мире животных» — прекрасно, «Подводные путешествия Кусто» — тоже очень хорошо.

Николай Либан

В свое время я был суровым экзаменатором. Вы знаете, послужило перемене во мне совершенно ничтожное событие. На меня пожаловались. И не кому-нибудь, а ректору, Ивану Георгиевичу Петровскому. И Петровский вызвал меня к себе и говорит: «Вот, Николай Иванович, вы знаете, на вас жалуются, совершенно невозможно с вами заниматься, вы так суровы». Я говорю: «Так что, подать заявление об уходе?» — «Да нет, ну, что вы! Вы только поймите, что ведь вы ставите отметку-то не ему, вы отметку ставите себе. У нас ведь "штучное" производство: чему научил — то и получай. Так что я не прошу вас снижать требования к студентам». Я говорю: «А вы просите, чтобы я повысил требования к себе?» — «Я этого не говорю» — «Но ведь логика вашего рассуждения такова?» — «Совершенно верно, такова». И этот разговор меня заставил подумать о многом.

...Я думаю, мой курс «Древнерусской литературы» был удачным. Но не менее удачным, с моей точки зрения, был курс «Вторая половина XIX века»: Герцен, Тургенев, Толстой, Достоевский. И революционные демократы: Помяловский, оба Успенских, Левитов, Решетников, Воронов, которого я ввел в литературный обиход и которого вообще обходили и не знали. Это бульварный роман, массовая литература, литература на потребу дня. В ней есть своя ценность. «Петербургские трущобы» сейчас экранизируют, их смотрят. И они, действительно, смотрятся увлекательно. Ничуть не хуже этих американских... Но это наша историческая жизнь.

Из бульварных писателей интересны Салиас, с его бесконечными романами, Мордовцев... А Боборыкин — это уже не массовая литература, это уже серьезная. Это соперник Толстого.

Но он больше всего исторические факты излагает. Он историк, и это ему очень мешает. Он не интрижен.

Самое интересное для меня в этих писателях было то, что классики-то из них многое ценное «вытащили», а первоисточник забыт. Они создали язык второй половины XIX века — Достоевский, думают, выдумал слово «кро- виночка». Макар Девушкин пишет: «Кровиночка ты моя». Это не Достоевский выдумал, это у Решетникова мелькнуло, а Достоевский только ухватил. Классики очень многие находки языка заимствовали у тех, кого мы уже не читаем и считаем, что все это «мусор». А на самом деле это тот самый мусор, из которого мастера-то брали!

...Лесковым я стал заниматься давно, очень давно. Я его считаю наиболее русским писателем — в том смысле, что у него все построено на слове. Это писатель слова. Его не столько интересует сюжет, образ, герой, сколько его интересует звучание слова.

Трудный он писатель. Трудный для понимания. У него никогда не знаешь, что хорошо, а что плохо. Достоевский проще, и Толстой проще. И в смысле языка они проще. У них все работает на психологии героя. А у Лескова все работает на психологии слова. Мне кажется, что картина духовенства, которую он изобразил, не должна оскорблять чувства религиозного человека. У него очень хорошее размежевание: религиозные чувства и — клерикальный мир. Он этого не путает.

Сейчас какое-то измельчание в русской науке. Как оценить ее состояние? Я расскажу вам очень хороший анекдот. В начале революции очень любили анкеты. И вот старому еврею дают анкету, а там — первый вопрос: «Как вы относитесь к Советской власти?» Он думает, думает и пишет: «Сочувствую, но ничем помочь не могу»... Я в курсе современной науки, и все время был в курсе. Но это все- таки не наука: в науке должна быть своя терминология, в первую очередь. А этой терминологии нет...

Формализм — Тынянов, Томашевский, Эйхенбаум — это очень хорошая вещь. И многие современные статьи — это просто пересказ того, что было открыто в этой области в конце 20-х. Это крупное явление. Но однобокое. Это все только форма.

Какая плохая литература — советская и постсоветская! Там, где они немножко смотрят на классику, что-то

получается, как Трифонов, например, он хороший писатель. И все-таки, в глубоком смысле, это перепев того, что уже было. Там заниматься-то нечем. А из эмигрантской литературы я прежде всего называю Бунина. А Куприна даже не назовешь и эмигрантом! Шмелев — это большая литература. Набоков — это трагическая личность! Это настоящий художник, не обретший

почвы. Вообще нельзя быть писателем на чужой земле. Он писатель. И писатель величайшей литературы, которая не сделалась величайшей! В этом трагедия. Она величайшая по потенции, но не по действительности. Сделано ли в исследовании этой области что-то значительное? Не знаю. Думаю, что нет. Когда-то Алексей Георгиевич Соколов занимался этим периодом, но всегда был связан политическими соображениями. Да и сейчас никто ни от чего не освободился.

как Трифонов, например, он хороший писаки, в глубоком смысле, это перепев того, что ил заниматься-то нечем. А из эмигрантской литературы я прежде всего называю Бунина. А Куприна ведь даже и не назовёшь эмигрантом! Шмелев —

это большая литература. Набоков — это трагическая личность! Это настоящий художник, не обретший почвы. Вообще нельзя быть писателем на чужой земле. Он писатель. И писатель литературы, которая не сделалась величай — трагедия. Она величайшая по потенции, но не по действительности. Сделано ли в исследовании этой области что то значительное? Не знаю. Думаю, что нет. Когда то Алексейексей Георгиевич Соколов занимался этим периодом, но всегда был

связан политическими соображениями. Да и сейчас никто ни от чего не освободился.

[1] В середине 50-х годов на даче Н.И. Либана в Домодедове Лосев работал

над книгой «Античная мифология» — (примеч. сост.).